

Михаил Петрович Арцыбашев

# Подпрапорщик Гололобов



# Михаил Петрович Арцыбашев

## Подпрапорщик Гололобов

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2848905](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2848905)*

### **Аннотация**

«Молодой доктор Владимир Иванович Солодовников вышел пройтись по бульвару, что делал каждый день, если в это время, то есть около семи часов вечера, не был занят у больных. На бульваре он всегда встречал кого-нибудь из своих знакомых и, пройдя с ними весь бульвар из конца в конец, шел в клуб читать газеты и играть на биллиарде.

Но на этот раз погода была дурная: небо с утра затянулось сплошными серыми тучами; было ветрено и сыро, а потому на бульваре не было никого, кроме неподвижного постового городского...»

# Содержание

I	4
II	24
III	36

# Михаил Петрович Арцыбашев Подпрапорщик Гололобов

*И псу живому лучше, чем мертвому льву.  
Екклезиаст, 9, 4*

## I

Молодой доктор Владимир Иванович Солодовников вышел пройтись по бульвару, что делал каждый день, если в это время, то есть около семи часов вечера, не был занят у больных. На бульваре он всегда встречал кого-нибудь из своих знакомых и, пройдя с ними весь бульвар из конца в конец, шел в клуб читать газеты и играть на биллиарде.

Но на этот раз погода была дурная: небо с утра затянулось сплошными серыми тучами; было ветрено и сыро, а потому на бульваре не было никого, кроме неподвижного постового городского.

Пройдя до конца бульвара, Солодовников повернул назад и решил идти прямо в клуб.

Навстречу ему шел человек, и Владимир Иванович узнал в нем своего знакомого пехотного подпрапорщика Гололо-

бова. Подпрапорщик шел, как всегда, щеголеватую быструю походкою, бодро выступая лакированными сапогами, высоко подняв сильно подложенные ватой плечи и грудь и мужественно шагая по лужам.

– Здравствуйте, воин, – сказал Владимир Иванович, поравнявшись с подпрапорщиком.

Гололобов вежливо поклонился, дотронувшись пальцами до своей маленькой фуражки.

– Вы куда же стремитесь? – спросил Владимир Иванович только для того, чтобы не молчать.

– Домой, – так же вежливо ответил подпрапорщик.

А... – сказал Владимир Иванович.

Подпрапорщик Гололобов стоял против него и учтиво ждал. Владимир Иванович решительно не знал, что ему сказать. Он знал подпрапорщика очень мало, встречался с ним редко, а когда и встречался, то не говорил ни слова, кроме «здравствуйте» и «прощайте». Несмотря на это, он почему-то считал подпрапорщика глупым и неразвитым, и в другое время, будь на бульваре кто-либо другой из знакомых, Владимир Иванович не обратил бы на подпрапорщика никакого внимания.

– Ну, путь добрый! – ласково-пренебрежительно, как говорят с людьми несравненно ниже стоящими, когда из чувства собственного достоинства не хотят показать им свое настоящее к ним отношение, сказал Владимир Иванович и подал подпрапорщику руку.

Гололобов пожал протянутую ладонь, опять дотронулся до козырька своей фуражки и пошел дальше, все так же щеголевато выступая лакированными сапогами.

Владимир Иванович пошел в клуб, сыграл три партии на биллиарде, причем из трех выигранных бутылок пива выпил больше половины; прошел в библиотеку, где с одинаковым вниманием и интересом прочел обе газеты, одну либеральную, другую консервативную; поболтал с двумя знакомыми дамами и тремя чиновниками, которых считал глупыми, смешными и отсталыми именно потому, что они были чиновниками; потом закусил у буфета и выпил четыре рюмки водки. От всего этого ему стало скучно, и около десяти часов вечера он пошел домой.

Ветер упал, но зато с неба моросил мелкий, холодный и частый дождь. Лужи расплылись, и уже нельзя было их обходить. Приподняв плечи и воротник, аккуратно подвернув концы брюк, Владимир Иванович быстро пошел по бульвару и скоро повернул в улицу, на которой жил.

В третьем доме от угла, за подъездом булочной, ярко освещенное окно бросало в темноту полосу неподвижного света, в которой мелькали капли дождя. Владимир Иванович машинально припомнил, что именно в этом доме живет встретившийся ему сегодня подпрапорщик Гололобов.

Поравнявшись с окном, Владимир Иванович заглянул в него и увидел самого подпрапорщика, который совершенно неподвижно сидел прямо против окна, опустив голову. Вла-

димиру Ивановичу от скуки и оттого, что так недавно он виделся и даже говорил с подпрапорщиком, пришла фантазия погугать его, и он стукнул в окно концом своей палки.

Подпрапорщик Гололобов быстро поднял голову. Лампа освещала его прямо в лицо и очень ярко. Владимир Иванович только теперь как следует рассмотрел его. Очевидно, подпрапорщик был еще очень молод, почти мальчик, ни усов, ни бороды у него не было. Одутловатое книзу, сплошь покрытое угрями, его лицо с маленькими светлыми глазами, с желтыми бровями, белыми ресницами и коротко остриженными серыми волосами было совсем бесцветно и какое-то незначительное.

Гололобов увидел Владимира Ивановича, узнал его и встал. Владимир Иванович, довольный тем, что, как ему показалось, испугал подпрапорщика, хотел кивнуть ему головой, улыбнуться и уйти, но Гололобов вдруг сам кивнул головой, любезно улыбнулся и быстро ушел в глубь комнаты, как будто к двери.

«Что он... позвать меня к себе хочет, что ли?...» – с недоумением подумал Владимир Иванович и замаялся на месте, не зная, идти ли ему дальше или подождать.

С подъезда булочной послышался стук отворяемой двери, и из ее черного четырехугольника голос Гололобова сказал: – Это вы, доктор?

Владимир Иванович, все еще не зная, что ему делать, нерешительно подошел к двери. Гололобов в темноте пожал

ему руку и отступил внутрь сеней, давая дорогу. Владимир Иванович последовал за ним.

– Прямо, прямо, доктор, – сказал Гололобов в темноте, и слышно было, как он запирает входную дверь на засов.

«Вот тебе и раз! Нежданно-негаданно попал в гости», – весело подумал Владимир Иванович, путаясь впотьмах среди каких-то кадушек и ларей.

В сенях крепко пахло печеным хлебом и кислыми дрожжами и воздух был теплый, парной.

Подпрапорщик прошел вперед и отворил дверь в освещенную комнату. Владимир Иванович, улыбаясь неожиданному приключению, перешагнул порог.

Оказалось, что подпрапорщик Гололобов занимает всего одну, небольшую и малообставленную неуклюжей старой мебелью комнату.

Владимир Иванович снял пальто, повесил его на вешалку, которую изображал ряд гвоздей, аккуратно вбитых в стену поверх газетного листа, снял галоши, фуражку и поставил палку в угол.

– Садитесь, пожалуйста, – указывая на стул, предложил ему Гололобов.

Владимир Иванович сел и огляделся.

В комнате горела очень плохая лампа, и оттого в ней было темно и сумрачно. Кроме стола, аккуратно прибранной кровати и шести стульев, расставленных по стенам без всякой симметрии, Владимиру Ивановичу бросился в глаза угол,

увешанный множеством больших и маленьких старинных, темных образов в медных ризах, и перед ними зеленая лампадка с подвешенным к ней пасхальным, раскрашенным яйцом.

«Вишь ты, богомольный какой!» – подумал Владимир Иванович и почувствовал презрение к подпрапорщику. Ему почему-то казалось некрасиво-несовместимой богомольность, лампадка и особенно пасхальное яйцо с подпрапорщицким званием и молодостью.

На чистенько застланном скатертью столе стоял потухший самовар, лежали чайные ложечки, щипчики для сахара, стояла вазочка с вареньем. Кровать была покрыта одеялом, а подушки белой накидкой с прошивками. Все было удивительно чисто и аккуратно, но комната оттого казалась только еще более холодной и неудобной.

– Хотите чаю? – спросил подпрапорщик.

Владимир Иванович вовсе не хотел чаю и чуть было не отказался, но подумал, что тогда уже окончательно нечего будет делать, и согласился.

– Пожалуй.

Гололобов старательно вымыл и вытер стакан и блюдечко и налил чаю.

– Извините, пожалуйста, что чай не крепкий, сказал он, подвигая к Владимиру Ивановичу вазочку с вареньем.

– Ничего, возразил Владимир Иванович, думая: «На кой черт он меня к себе зазвал?»

Подпрапорщик сидел у стола, поджав ноги под стул, и машинально размешивал ложечкой чай в своем стакане. Владимир Иванович тоже помешивал свой чай, и оба молчали.

И тут только Владимир Иванович испуганно догадался, что вышло недоразумение: его стук в окно подпрапорщик Гололобов, очевидно, принял за желание войти и теперь сам недоумевал. Владимир Иванович почувствовал себя очень неловко и покраснел. Положение казалось ему глупым и по его вине, а Владимир Иванович, как все здоровые и самодовольные люди, терпеть не мог видеть себя в глупом положении.

– Погода скверная, – недовольно краснея своему началу, проговорил Владимир Иванович.

– Да, погода теперь действительно очень дурная, – поспешно согласился Гололобов и замолчал.

«Как он странно... подробно как-то говорит!» – подумал Владимир Иванович.

Неловкость его быстро прошла, потому что он, как всякий доктор, привык говорить с различными, часто совершенно ему незнакомыми людьми. Кроме того, он, как и чиновников, всех военных считал глупыми и не находил нужным стесняться с ними.

– О чем вы тут мечтали? – опять впадая в привычный снисходительно-презрительный тон, заговорил он.

Владимир Иванович был уверен, что хозяин так же вежливо и чересчур подробно ответит: «Я тут ни о чем не меч-

тал...»

Но вместо того подпрапорщик Гололобов, не подымая головы, ответил:

– Я думал о смерти.

Владимир Иванович чуть не прыснул со смеху, до того несовместимой с белобрысою физиономией подпрапорщика показалась ему такая глубокая и значительная мысль. Он удивился и засмеялся.

– Во-от как! Что же это вам пришли в голову такие мрачные мысли?

– Каждый человек обязан думать о своей смерти.

– И каяться в своих прегрешениях, вольных и невольных! – пошутил Владимир Иванович.

– Нет. Просто думать о своей смерти, – совершенно спокойно и вежливо ответил Гололобов.

– Почему так уж обязан? – кладя локоть на стол и закладывая ногу на ногу, насмешливо спросил Владимир Иванович, каждую минуту с удовольствием ожидая, что подпрапорщик «сморозит» какую-нибудь глупость, что казалось ему обязательным для подпрапорщика.

– Потому что каждый человек должен умереть, – ответил тем же тоном Гололобов.

– Да... ну, это еще недостаточная причина! – возразил Владимир Иванович и подумал: «Он, должно быть, не русский, потому что уж очень правильно выражается...»

И ему вдруг почему-то стало неприятно сидеть здесь, про-

тив бесцветного вежливого подпрапорщика, и захотелось уйти.

– А я думаю, что причина эта – совершенно достаточна, – сказал Гололобов.

– Не будем спорить! – насмешливо согласился Владимир Иванович, и ему стало неприятно еще и то, что считающийся им за глупого и ограниченного человека подпрапорщик Гололобов думал и говорил о такой серьезной, глубокой и страшной вещи, как смерть.

– Спорить не надо, а надо готовиться, – сказал Гололобов.

– Что? – высоко поднял брови Владимир Иванович и рассмехался, потому что эта последняя фраза подпрапорщика показалась ему именно тою глупостью, которую он от него ожидал.

– Да на кой же черт вам о ней думать? – уже окончательно небрежно и готовясь встать, возразил Владимир Иванович.

Гололобов поднял голову, посмотрел на него и, как бы удивляясь, сказал:

– Но ведь я уже говорил, что каждый человек обязан думать о своей смерти.

«Да он идиот, что ли?» – с внезапным раздражением подумал Владимир Иванович.

– Это почему же? – спросил он почти сквозь зубы.

– Я уже на этот вопрос ответил вам, – заметил подпрапорщик.

– Черт знает, что вы мне ответили! – с грубостью само-

уверенного человека, которого раздражает непривычное сопротивление, и сам удивляясь своей грубости, возразил Владимир Иванович. – Будто оттого, что я каждый день непременно должен пить и есть и спать, или оттого, что я непременно состарюсь в свое время и приобрету морщины, лысину и прочее, так я и должен постоянно думать о еде, снани, лысине и тому подобных глупостях!

– Нет, – медленно и грустно покачал головой подпрапорщик. – Вы сами сказали, что все это глупости, а о глупостях думать не надо. Но смерть не глупость.

– Да мало ли о чем мы и очень умном никогда не думаем... Да и что такое смерть? Придет смерть – помирать будем. Я, например, отношусь к этой неприятности совершенно равнодушно.

– Этого не может быть, – качнул головой Гололобов. – Никто не может относиться равнодушно к такой ужасной вещи, как смерть.

– А вот я отношусь! – пожал плечами Владимир Иванович.

– Это означает только то, что вы еще не сознаете своего положения.

«Ишь ты! Скажите! Ах ты, болван гололобый!» – густо краснея, подумал Владимир Иванович.

Хотя он знал, что каждый человек считает себя если не умнее, то не глупее других, но здоровая самоуверенность его была так велика, что, говоря с человеком глупее себя, а тако-

выми считал он всех, с кем говорил, он бессознательно воображал, что всякий сознает его умственное превосходство над собою. И теперь, когда из слов и тона Гололобова он понял, что тот не только не признает его превосходства, но даже, напротив, убежден в своем, Владимир Иванович почувствовал что-то близкое к оскорблению. Но вместе с тем в нем явилось жгучее и досадное желание во что бы то ни стало доказать, что он – неизмеримо выше, а подпрапорщик прямо дурак. В эту минуту он бессознательно ненавидел подпрапорщика.

– Почему же я не сознаю? Это интересно, – криво усмехнулся он, силясь выразить на своем лице крайнюю степень презрения, на какую только был способен.

Но подпрапорщик не подымал головы и не видел этого выражения.

– Почему? Я не знаю, – тихо ответил он, как бы даже извиняясь за то, что не может удовлетворить законного желания собеседника.

– А вы сознаете? – еще более краснея, спросил Владимир Иванович.

– Да.

– Это инте-ре-сно...

– Положение каждого человека есть положение приговоренного к смертной казни.

Владимир Иванович вполне искренно подумал, что подпрапорщик высказал избитую, давно известную ему, Владимиру Ивановичу, мысль. И от этого он сразу успокоился и

опять почувствовал себя неизмеримо выше подпрапорщика, за новость считающего то, что ему кажется азбукой.

– Стара штука! сказал он и, вынув портсигар, хотел закурить и уйти.

– От этого она не перестает быть правдой. Избитые мысли почти всегда бывают самыми правдивыми мыслями, – спокойно возразил подпрапорщик Гололобов и подвинул Владимиру Ивановичу спички.

– Что? – переспросил Владимир Иванович, потому что не мог сразу уяснить себе: умное или глупое сказал подпрапорщик.

– Я не знаю, почему я обязан говорить только новые, неизбитые вещи, – подняв глаза, сказал подпрапорщик Гололобов. – Я думаю, что я должен говорить только правдивые мысли...

– Гм... да... – сказал Владимир Иванович, невольно думая о том, можно ли в данном случае сказать «правдивые» мысли.

– Конечно, это так, – согласился он, не решив своего вопроса. – Но к этому уже давно пора привыкнуть, – закончил он, неуверенно чувствуя, что говорит не то, что надо, и сердясь за это не на себя, а на подпрапорщика.

– Я думаю, что это плохое утешение для всякого приговоренного к смертной казни. И наверное, он ни о чем не думает, кроме как о казни.

И со странным для его неподвижного лица выражением

интереса Гололобов прибавил:

– А вы разве думаете, что это не так? Это выражение интереса польстило Владимиру Ивановичу. Он подумал, выпустил дым изо рта и, закинув голову, сказал:

– Нет, я думаю, что это так, конечно. Но ведь смертная казнь, во-первых, насилие... грубое и противоестественное, а во-вторых, стоит ближе к человеку...

– Нет, и смерть – неестественное явление и насилие, – сейчас же, как будто он только что обдумывал этот вопрос, возразил подпрапорщик.

– Ну, это только красивая фраза, и больше ничего! – добродушно-насмешливо воскликнул Владимир Иванович.

– Нет. Я не хочу умирать, но умру. Во мне есть желание жить, и весь я приспособлен к жизни, а все-таки я умру. Это и насилие, и противоестественно. Это было бы красивой фразой, если бы в действительности было не так... Но оно так, а потому это уже не фраза, а факт.

Гололобов выговорил это серьезно и медленно.

– Но это закон природы! – пожал плечами Владимир Иванович и почувствовал, что у него начинает болеть голова и что воздух в комнате очень тяжел.

– И смертная казнь есть закон. А от кого исходит этот закон – все равно... от природы или иной власти. И тем тяжелее, что со всякою иною властью бороться можно, а с природой и бороться нельзя.

– Ну, да, – с досадой согласился Владимир Иванович. –

Но час смерти нам неизвестен!

– Это правда, – согласился Гололобов. – Но зато осужденный на казнь до самой последней минуты, вероятно, надеется на прощение, на случай, на чудо. Но никто не надеется жить вечно.

– Но зато все надеются жить долго.

– На это нельзя надеяться. И не долго, потому что жизнь человека очень маленькая, а любовь к жизни у человека очень велика.

– У всякого ли? – с усмешкой спросил Владимир Иванович, и ему самому было странно, что он усмехается, когда нет ничего смешного.

– У всякого. У одних сознательно, у других бессознательно. Жизнь человека это он сам, а себя самого всякий человек любит больше всего и всегда.

– Ну так что ж из этого?..

– Я не понимаю вас, – сказал Гололобов. – О чем вы меня спрашиваете?

Владимир Иванович вдруг почувствовал, что от этого неожиданного вопроса подпрапорщика он забыл, что хотел сказать. Несколько времени он тупо и покраснев смотрел на подпрапорщика и мучительно старался поймать ускользнувшую мысль, но вместо того он подумал, что Гололобов, должно быть, считает его дураком и издевается над ним. Эта мысль была для него положительно ужасна. Он сначала побледнел, а потом побагровел так, что даже его толстая и чи-

стая шея налилась кровью. А потом мысль эта нашла исход в грубом и злом взрыве: ему неудержимо захотелось крикнуть подпрапорщику что-нибудь грубое, отчаянно оскорбительное... нагнуться к самому его тусклому, прыщеватому лицу и крикнуть.

– Ну да, к чему вы всю эту чушь нагородили? – визгливо почти крикнул он, мучительно сдерживаясь, чтобы не сказать еще большей грубости.

Гололобов быстро встал, вытянувшись во фронт, но, прежде чем Владимир Иванович успел что-либо подумать, опять сел и сказал довольно тихо, но отчетливо:

– К тому, что таковы мои чувства и убеждения, и я намерен лишиться себя жизни.

Владимир Иванович широко раскрыл глаза, пошевелил губами и уставился на подпрапорщика. Подпрапорщик сидел перед ним по-прежнему неподвижно и в прежней позе, помешивая ложечкой в стакане. Владимир Иванович смотрел на него и чем больше смотрел, тем в голове его что-то становилось все яснее и яснее. Какая-то мысль вертелась у него в мозгу. Он сделал усилие, и вдруг все стало ясно. И, не доверяя себе и почти еще считая свою мысль невероятной, Владимир Иванович спросил:

– А скажите, Гололобов, вы, часом, не сумасшедший?

Гололобов потупил глаза и пошевелил своими узкими вздернутыми плечами.

– Я сам так думал сначала.

– А теперь?

– А теперь думаю, что я вовсе не сумасшедший и что в том намерении лишиться себя жизни, которое я имею, нет ничего абсурдного.

– По-вашему, самоубийство без всякого повода...

– У меня есть повод, – перебил его Гололобов.

– Какой? – с любопытством спросил Владимир Иванович.

– Я уже сказал вам, – удивленно ответил подпрапорщик.

Он помолчал, а потом заговорил вежливо, но, видимо, с усилием:

– Я сказал, что жизнь человека нахожу жизнью приговоренного к смертной казни. И не желая и не будучи даже в силах дожидаться... я хочу сам...

– Никакого смысла, – сбивчиво возразил Владимир Иванович, – совершить насилие... ради... избавления от насилия...

– Не ради избавления, избавиться нельзя, а ради прекращения жизни приговоренного к смерти... Лучше уж скорее.

Владимир Иванович почувствовал, как что-то холодное и неприятное пробежало у него по спине и отозвалось в коленях.

– Не все ли равно! – сказал он.

Гололобов молчал.

– Послушайте, – заговорил Владимир Иванович (ему казалось, что очень не трудно разубедить подпрапорщика в справедливости его странных убеждений), – разве вы не по-

нимаєте, что это будет насилием над самим собою...

– Нет, это будет насилием моего духа над природой... это прежде всего... а потом – да...

– Но разве ваш дух не то же создание природы, что и ваше тело, и...

Вдруг Гололобов улыбнулся. В первый раз Владимир Иванович видел его улыбающимся, и улыбка эта его поразила: большой рот подпрапорщика растянулся чуть не до ушей, глазки сузились, и все лицо его расплылось в бессмысленную гримасу добродушного пьяного.

– Я это очень хорошо знаю, – ответил он. – И то, и другое – создания природы, но неодинаково важные для меня. Дух мой есть именно я, а тело – только случайное помещение, не больше.

– Но если ударит кто по вашему телу, вам будет больно?

– Значит...

– Если бы тело мое было именно я, то я бы остался жить, – перебил его Гололобов. – Смерть не была бы тогда приговором к казни: ведь и после смерти мое тело останется. Тело есть вечно.

Владимир Иванович не мог не улыбнуться.

– Самый оригинальный парадокс, который я когда-либо слышал.

– Нет, в нем ничего нет ни оригинального, ни парадоксального. Это – факт: тело есть вечно. Я умру, тело распадется на атомы, атомы сложатся в какую-нибудь иную фор-

му, но сами не изменятся и ни один не исчезнет. Сколько было в мире атомов, когда было мое тело, столько их будет и тогда, когда я умру. Можно даже допустить, что комбинация когда-нибудь повторится и будет та же форма. Это пустяки... Дух умрет.

Владимир Иванович развел руками. Он уже не считал подпрапорщика сумасшедшим и вообще не мог отдать себе отчета, имеет ли даже смысл то, что он, подпрапорщик, говорит, но в душе у него было тяжело, и какой-то грозный внутренний, еще непонятный смысл всего того, что с ним случилось, шевелился во всем: и в словах подпрапорщика, и в тяжелом свете лампы, и в нем самом, и в бестолковой пустой комнате.

– А может, и нет, – все-таки возразил он. – Разве вы знаете, что загробной жизни нет?

– Я этого не могу знать, – ответил Гололобов и качнул головой. – Но это все равно.

– Как все равно?

– Все равно: если нет, то дух мой исчезнет, а если есть какая бы то ни было, то все-таки мой дух исчезнет, – ударяя на слове «мой», подтвердил подпрапорщик. – Я исчезну. Будет ли потом дух мой святым в раю или грешником в аду или переселится в другое существо, – я, именно я, мои пороки, привычки, смешные и прекрасные особенности, мои сомнения, мой ум, моя глупость, мой опыт и мое незнание, все то, что было именно подпрапорщиком пехотного полка,

человеком Гололобовым, все исчезнет. Будет что угодно, но не Гололобов.

Владимир Иванович чувствовал себя и физически скверно: ноги дрожали, и голова болела, и ему было грустно, досадно, тяжело, страшно и пусто.

«Ну его к черту! – подумал он. – Это сумасшедший, с ним и сам с ума спятишь!»

– Прощайте! – отрывисто сказал он и встал, точно его толкнул кто.

Гололобов тоже встал и по-прежнему вежливо ответил:

– Прощайте.

Владимир Иванович надел пальто, шляпу, калоши, взял палку и, не глядя на подпрапорщика, подал ему руку.

Они вышли вместе в темные сени, где все так же и еще сильнее пахло теплым хлебом и дрожжами, и Гололобов отворил дверь на улицу.

– Прощайте, – еще раз сказал Владимир Иванович.

Подпрапорщик из темных сеней ответил:

– Прощайте.

Владимир Иванович, осторожно ощупывая палкой, грузно спустился с крыльца.

– Смотрите не вздумайте и вправду того... от скуки! – весело, как ему казалось, но на самом деле вовсе не весело, сказал Владимир Иванович.

– Я сказал, что таковы мои убеждения... – Глупости! Прощайте! – почти со злобой закричал Владимир Иванович и

чуть не бегом пустился от крыльца.

## II

Владимир Иванович слышал, как стукнула дверь, и поспешно зашагал по улице. Дождь усилился, и ветер тоже. Но Владимиру Ивановичу это было приятно, и он даже сдвинул фуражку на затылок. Лоб у него был тяжелый и потный.

Раз он оглянулся и уже далеко позади увидел красноватую точку освещенного окна, неподвижно стоявшую в темной мгле ночного дождя.

– Черт знает что такое! – недоуменно повторял сам себе Владимир Иванович, звучно шлепая по лужам и чувствуя, что правый ботинок весь в воде.

Владимир Иванович сам не мог понять, серьезно ли было то, что было, или это была глупость, неизвестно даже с чьей стороны. Но все-таки ему почему-то уже не казалось, что если глупость, то непременно со стороны подпрапорщика. Весь разговор представлялся ему тяжелым бредом и даже не бредом, а просто чем-то вроде ядовитого, тяжелого запаха.

Владимир Иванович шел, глядя себе под ноги и стараясь успокоиться и прогнать какое-то скверное, сосущее чувство, засевшее где-то в самой глубине его души.

– Чего я, собственно, так огорчился? – с иронией спрашивал он сам себя, но от этого вопроса тяжелое чувство не утихло, но даже усилилось до болезненной тоски.

«А что, как он и вправду застрелится!» – вдруг пришло ему в голову.

И в первый раз с осязательною ясностью Владимир Иванович понял, что все это были не теоретические безвредные рассуждения, а нечто неразумно-ужасное, мрачное и давящее живую душу, – душу человека, который сейчас еще жив, а через минуту, быть может, исчезнет. Впечатление было так сильно, что Владимир Иванович разом повернулся всем телом и побежал назад, не обращая внимания на лужу, скользя и сбиваясь в жидкую грязь. Запыхавшись, весь в поту, с фуражкой, сдвинувшейся на затылок, он добежал до квартиры Гололобова и остановился, как давеча, перед освещенным окном. Сначала ему показалось, что он видит лицо подпрапорщика, но то был освещенный бок самовара. Лампа по-прежнему горела на том же месте, и виден был стакан с недопитым чаем и блестящею ложечкой. Но самого подпрапорщика не было. Владимир Иванович в нерешительности медлил перед окном. Ему чудилось, что там, в комнате, стоит страшная тишина и неподвижность, а посреди комнаты лежит убитый подпрапорщик. Владимир Иванович удивительно живо представил себе его фигуру, раскинувшуюся на полу, с бледным лицом, неподвижными глазами, струйкой крови на виске и на полу, с револьвером, зажатым в омертвевших пальцах. Владимиру Ивановичу показалось даже, что над столом, заволакивая лампу, плывет и колышется дым, но в это время на пристально напряженные глаза его набе-

жали слезы, а когда он сморгнул их, дыма уж не было. Владимир Иванович простоял так минут пять, не сводя глаз с окна и чувствуя, что надо, и как можно скорее, сделать что-то важное, неизмеримо важное, и это его мучило. Но что, он не знал.

– Это наконец сумасшествие! – пожал плечами, растерянно улыбаясь, Владимир Иванович, и ему стало ужасно стыдно, чтобы кто-нибудь, а главное сам Гололобов, не увидел его перед окном.

«Подпрапорщик спит, наверное, а я торчу тут как дурак! – со злобой подумал он. – Да и чего я испугался? Все мальчишки собираются застрелиться и все, слава Богу, живы остаются! Черт бы его побрал!..»

Владимир Иванович решительно повернулся, возмущенно поднял ворот пальто, надвинул шляпу и пошел обратно; не оборачиваясь, он свернул в переулок и вошел в свой двор. В большом доме у хозяев слабо светился огонек синей лампы, а в окнах его флигеля было темно. И эти темные окна показались ему какими-то жуткими. И только сейчас, в первый раз, он обратил внимание на свой флигелек: это был старый, облупившийся дом, весь задвинутый в темную неподвижную массу деревьев сада. Среди этих огромных молчаливых деревьев дом казался маленьким, таинственным, и Владимиру Ивановичу вдруг стало страшно, что он живет и сегодня будет спать ночью в таком доме.

«Ну, это уж совсем глупо! – с полным негодованием, чуть

не вслух, сказал себе Владимир Иванович. – До чего может довести себя человек!»

Он решительным шагом взошел на крыльцо, заскрипевшее под ногами, и постучал в дверь один раз и другой. За дверью царствовало молчание, и тишина нарушалась только медленным непрерывным шорохом дождя и журчанием воды, лившейся где-то с крыши в бочку. Владимир Иванович постучал еще и еще изо всей силы и почти обрадовался, услышав за дверью шаги своего Пашки и его сонный голос:

– Кто там?

– Я, – отвечал он громко, и как будто от звука его голоса все пробудилось, и исчез оттенок таинственности, делавший все таким страшным. Шепот дождя стал обыкновенным шумом; вода бойко и даже весело зажурчала в бочке; в окнах мелькнул свет и рассеял тяжелую тьму, а сад точно отступил назад, и Владимир Иванович ясно увидел обыкновенные добродушные деревья, покачивающиеся от ветра.

Владимир Иванович пошутил о чем-то с Пашкой, приказал завтра разбудить себя пораньше, весело разделся и ли на кровать.

Пашка, зевая во весь рот, забрал его сапоги и ушел.

Но когда Пашка ушел и Владимир Иванович остался один, он тотчас же почувствовал, что то гнетущее, тоскливое чувство, которое возбудил в нем разговор с Гололобовым, не прошло, что оно тут, в нем, и сейчас выйдет наружу, и опять будет страшно и грустно. Но вместе с тем Владимир Ивано-

вич чувствовал, что он не может ничем помешать этому, и заметался в тоске. Он подкрутил повыше огонь лампы, хотел читать, не мог, бросил книгу, потушил лампу и закурил папиросу. Красный огонек папиросы тихо тлел в его руках и, по временам вспыхивая, освещал часть стены, узор обоев, пальцы, и одеяло, и усы Владимира Ивановича.

«А все-таки этот подпрапорщик удивительно странный человек», – думал Владимир Иванович, и ему было немного неприятно, что нашелся в одном с ним юрودة, так близко от него, человек чем бы то ни было удивительный, и этот человек не он, Владимир Иванович Солодовников.

«И как это я его раньше не замечал? Чего он дурачком прикидывался? – подумал Владимир Иванович. – И неправда, вовсе он не прикидывался, а просто я не мог его заметить. Почему? Неужели же я так... глуп или... что не мог его понять? Этого не может быть!» – усмехнулся Владимир Иванович, сам не зная, почему именно не может быть.

«Слишком я просто был занят самим собой, – поежился Владимир Иванович. – А отчего? Оттого, что приучили к этому окружающие идиоты: никак не ожидал, что между ними может найтись... А может, и не потому? Почему же я так был занят собой? Вот хоть тому же подпрапорщику пришли в голову такие мысли... конечно, незрелые, – с удовольствием подумал Владимир Иванович, – но важные, а мне не приходили? Чем же я был так занят в себе? Не наружностью же... И почему же тогда я воображал, что я выше всех? Вся-

кий человек, положим, это воображает. И я, значит, такой же человек, как и все? Ну конечно же! Глупости какие лезут в голову...»

Папироса уже догорала. Владимир Иванович пыхнул в последний раз и отшвырнул окурок на середину комнаты. Красная точка, описав в темноте полукруг, упала, рассыпалась искорками и покатилась, а потом осталась лежать неподвижно в темноте. Из оранжевой она сделалась красною, потом незаметно стала делаться все меньше и меньше. Владимир Иванович лежал неподвижно и смотрел на огонек.

«И почему это я никогда не думал о том? То есть я думал, но как-то незаметно... А ведь это и вправду ужасно: вот живем мы все, живем, а потом умрем. Так зачем же тогда, не говорю уж наши заботы, огорчения и радости, а даже наши идеалы... Вот Базаров говорил, что лопух вырастет, а в сущности, и еще того хуже: и этого неизвестно. Может, и лопух не вырастет, а просто ничего не будет. Завтра помрут все, кто меня знал, бумаги мои, сданные в архив, съедят крысы или их сожгут, и все будет кончено. Никто и не вспомнит обо мне. Сколько миллионов людей существовало до меня, а где они? Я вот хожу по пыли, а эта пыль вся пропитана остатками тех людей, которые так же были самоуверенны, как и я, и думали, что это очень важно, что они живут!»

Огонек папиросы вдруг исчез. Владимир Иванович моргнул глазами, но огонек исчез окончательно.

«Вот огонек... горел – и нет его! Пепел остался; может

быть, можно опять зажечь, но это уж будет не то... Того, что горел, того уж не будет!.. Меня не будет».

И чувствуя какой-то неприятный озноб в ногах и спине, Владимир Иванович подумал:

«Доктора Солодовникова... нет, не так... доктора Владимира Ивановича Солодовникова уже никогда не будет...»

Он повторил эти слова несколько раз с ужасом и упорством отчаяния. Сердце билось неровно и быстро, в груди было невыносимо тяжело, и на лбу явственно выступил пот.

«Меня-то уж не будет! Неужели же... Ну, конечно! Все будет: и деревья, и люди, и чувства – много приятных чувств, любовь и все такое, – а меня не будет. Я даже смотреть на это не буду. Не буду даже знать, есть ли это все или нет! То есть даже не то, что „не буду знать“, а просто меня совершенно не будет! Просто? Нет, это не просто, а ужасно, жестоко и бессмысленно! Зачем же я тогда жил, старался, считал это хорошим, а то дурным, думал, что я умнее других?.. Все равно меня не будет».

Владимир Иванович почувствовал, будто глаза у него стали мокрые, и ему было стыдно этого, и он обрадовался этому, думая, что слезы облегчат то невыносимо холодное и тяжелое чувство, которое давило его. Но глаза были сухи и широко пялились в темноту. Владимир Иванович тяжело и с усилием вздохнул и весь обомлел от тоски и страха.

«И меня черви съедят... Долго будут есть, а я буду лежать неподвижно. Они будут есть, копошиться... белые, склиз-

кие... Пусть лучше меня сожгут... нет, это тоже ужасно! Зачем же я жил!»

Владимир Иванович почувствовал, что он все больше и больше судорожно дрожит. Ветер гудел за окном, а в комнате было тихо и неподвижно.

«И ведь я умру скоро... Может быть, я завтра умру... сейчас! Ведь это так просто: заболит самым невинным образом голова, а потом все хуже, хуже... и смерть... Я ведь сам знаю, что это просто, знаю, как и почему это, а между тем остановить и предупредить не могу! Умру. Может, завтра, может, сейчас... Может, я и вправду уже простудился, когда стоял под окном, и уже умираю... Мне еще кажется, что я здоров, а во мне уже начался окончательный процесс».

Владимир Иванович хотел пощупать себе пульс, но сейчас же бросил и с отчаянием уставился в потолок, которого не было видно. И вверху над ним, и с боков, везде была холодная серо-черная тьма, среди которой было еще страшнее и печальнее то, что он думал.

«Все равно я не могу остановить! Да если бы и остановил сейчас, все равно рано или поздно умру: ведь не буду же я бессмертен. И как это я, да и все мы думаем, что медицина великая наука? Сегодня поможет, завтра поможет, а в конце концов все равно все умрут: и здоровый, и больной... и... как это ужасно! Я ведь не боюсь смерти, но зачем же непременно смерть? Какой смысл, кому нужно?.. Нет, я боюсь, боюсь...»

Владимир Иванович вдруг притих: он вспомнил о воскре-

сении мертвых и загробной жизни. Точно что-то мягкое, тихое и ласкающее опустилось на его измученный мозг, и ему стало хорошо и спокойно.

Но сейчас же все вспыхнуло со злостью, ненавистью и отчаянием.

«О, глупости. Ведь никто, никто не верит этому, и я не верю и нельзя верить! Какой смысл в этом? Кому, на кой черт, нужны бестелесные души, лишенные формы, и чувств, и индивидуальности, плавающие в эфире? Да и все равно, потому что страх все-таки остается, все-таки мы ничего не знаем, кроме факта смерти... А прапорщик прав, что чем ждать в этом вечном ужасе, лучше самому... Тут есть что-то облегчающее, в том, что – сам. Вот возьмешь и сделаешь... И даже как будто займет то, что делаешь, и не заметишь самого ужасного момента умирания... А естественным путем: до самого последнего момента будешь надеяться, и глупо надеяться, потому что все равно если не умрешь в этот раз, то умрешь в другой, а непременно умрешь и... надеяться не надо! И до последнего мгновения бояться... даже не бояться, а умирать от страха...»

Владимир Иванович зажал уши ладонями, точно кто-то оглушительно и монотонно кричал ему в ухо бесконечное число раз одно и то же слово: «Смерть, смерть, смерть, смерть, смерть...»

– А-а! – вдруг завизжал Владимир Иванович и разом вскочил на кровати.

Все было темно и неподвижно. Чуть-чуть только светилось окно в сад смутным синевато-серым пятном. А за окном мотались черные ветки.

«Ну его к черту! О, будь ты проклят! Не хочу, не хочу!» – дико думал Владимир Иванович, охватив изо всех сил руками колени и задерживая дыхание. И где-то, еще глубже этой первой мысли, не переставая шевелилась другая неуловимая, но ужасная своею ясностью и неопровержимостью: «Все равно, кричи не кричи, а так будет... умру... умру!»

Владимир Иванович скрипнул зубами, схватил себя обеими руками за волосы, упал лицом в подушку и застыл. В ушах у него невыносимо шумело, и сквозь этот шум прорывался тихий, протяжный, невыносимо-печальный звон.

Владимир Иванович выпустил волосы, повернулся лицом кверху и широко раскрыл глаза. Отчаяние исчезло, вместо него была пустота. И эта пустота была хуже, невыносимее отчаяния; это была пустота мертвеца.

«Лучше самому», – подумал где-то далеко в глубине мозга Владимир Иванович и почувствовал, что лицо у него совершенно неподвижное и холодное и холодны руки и ноги.

«Лучше самому», – повторил он мысленно и тихо, точно крадучись, стал вставать с кровати, потихоньку высовывая ноги из-под одеяла на холодный пол.

«И какой идиот думает о том, как лучше, и честнее, и умнее жить, когда надо думать о том, как ужасно умереть!» – со злобой думал он, вставая и точно в бреду вглядываясь в

яркое красное пламя, стоящее перед ним, и чье-то ужасное, бледное лицо.

Но это лицо было лицом Пашки, который со свечой в руках стоял перед ним.

– Владимир Иванович, за вами пришли! – говорил он.

Владимир Иванович тупо на него смотрел и удивлялся, чего нужно Пашке среди ночи и отчего у него такое бледное лицо. За спиной Пашки торчала и еще одна знакомая, совершенно вытянутая физиономия.

– А, что? Чего вам? – недоуменно спросил Владимир Иванович.

– Вы извините, доктор, пожалуйста, – заговорила другая фигура и, выступив вперед, оказалась большим, длинным приставом, на котором уныло болтались усы и шашка. – Пришлось вас побеспокоить: там такое происшествие, а Леонида Григорьевича нет в городе.

Владимир Иванович опустился на кровать, натянул одеяло на голые ноги и смотрел на болтающиеся усы, вспоминая с усилием, что Леонид Григорьевич его коллега, городской врач.

– Там, знаете, вольноопределяющийся один застрелился, – продолжал пристав, точно извиняясь за бестактность самоубийцы, выбравшего такое неудобное время.

– Подпрапорщик, – машинально поправил Владимир Иванович.

– Ну да, то есть подпрапорщик. Вы, может быть, изволите

знать: Гололобов... Дознание необхо...

Будто что-то ударило по лбу Владимира Ивановича.

– Гололобов? – с диким любопытством закричал он. – Так-таки застрелился?

Пристав оторопело болтнул усами.

– Разве вы знаете?

– Ну, конечно... он мне сам сказал, – торопливо, захлебываясь и не попадая ногой в сапог, весь дрожа, бормотал Владимир Иванович.

– Как? Когда? – вдруг совсем другим голосом заговорил пристав.

– Говорил, говорил... а впрочем, я вам после скажу! – сбивчиво бормотал Владимир Иванович, дрожащими руками натягивая пиджак.

### III

За воротами ждал извозчик, хотя до квартиры подпрапорщика можно было и пешком дойти в пять минут. Владимир Иванович не заметил, как и когда он сел на дрожки и как и когда слез с них перед квартирой подпрапорщика Гололобова. Он заметил только, что дождя нет, небо было светлее и вверху как будто сверкали звезды.

Теперь двери в булочную были отворены. На тротуаре стояли городской и еще какие-то смутные, волнующиеся фигуры. В сенях, где по-прежнему крепко пахло печеным хлебом и кислыми дрожжами, толпились дворники и городовые. Владимиру Ивановичу показалось, что ужасно много городских и дворников. Была настежь отворена и дверь в комнату подпрапорщика, где по-прежнему горела лампа и было пусто и тихо.

Владимир Иванович вошел и с диким любопытством уставился на убитого.

Гололобов лежал, смиренно свернувшись калачиком, в совершенно неестественной для застрелившегося человека позе. Лежал он прямо посредине комнаты, весь освещенный лампой. Никакого беспорядка в комнате не было, и все было так же, как и час тому назад.

Гололобов, очевидно, застрелился сейчас же по уходе гостя.

И Владимир Иванович догадался об этом: в памяти его совершенно отчетливо выплыло освещенное окно, бок блестящего самовара, который он принял было за лицо подпрапорщика, и что-то похожее на дым, тянувшийся перед лампой.

Владимир Иванович грузно опустился на колени и осторожно повернул к себе голову подпрапорщика. Она послушно повернулась на длинной, мягкой шее.

То место, где Владимир Иванович еще недавно видел и ожидал увидеть знакомое тусклое лицо подпрапорщика, его бесцветные серые глаза, незначительный нос и белые усики и брови, представляло одно сплошное, кровавое пятно. Все было разбито, обращено в месиво, залитое уже запекшейся кровью. Один глаз вытек, а другой был неестественно широко открыт. Но этот глаз уже не был похож на прекрасный человеческий глаз: это было противное, непрозрачное, огромное, мертвое существо, тупо и ужасно глядевшее на жизнь.

Владимир Иванович вздрогнул и выпустил голову из рук. Голова упала с мягким звуком.

– Извольте видеть, – сказал сзади пристав, тихо и робко, – из ружья застрелились... дробью! Утиною дробью чуть не весь ствол набили, да в рот и... видите! Боже ты мой, Боже...

Владимир Иванович все полусидел на полу, глядя в белобрысый затылок, который уже начал синеть.

Пристав суетился. Подпрапорщика подняли и перенесли на кровать. Городовой, рыжий человек с толстым красным

лицом, придерживая шашку, поправил подпрапорщику голову и перекрестился; челюсть у него прыгала, и он напрасно старался ее удержать.

Владимир Иванович был как в бреду. Он делал все то, что надлежало делать, по мнению людей, человеку его профессии. Писать, подписывать, говорил вполне ясно, отвечая на вопросы пристава, но делал это совершенно машинально и со смутным сознанием ненужности и ничтожества того, что делал. Его все тянуло к кровати, на которой смиренно и неподвижно лежал подпрапорщик Гололобов.

Когда все формальности были кончены, Владимир Иванович опять подошел к кровати, постоял, посмотрел, зачем-то протянул руку и тронул выпученный глаз. И Владимиру Ивановичу, и городовым, и приставу казалось, что глаз непременно должен закрыться, моргнуть.

Но глаз был неподвижен. И это было странно, неприятно и страшно так, что всем стало жутко в этой комнате.

Но Владимиру Ивановичу только теперь с особенною силой, яркостью и ясностью стало понятно, что подпрапорщик Гололобов умер. То, что было подпрапорщиком Гололобовым, уже не было ни подпрапорщиком, ни Гололобовым, ни человеком, ни существом, а было трупом. Его можно было трогать, бросать, сжечь, и он только покорно и мертво подавался бы на всякое постороннее усилие. Но в то же время Владимир Иванович видел, что это именно подпрапорщик Гололобов. То, что с ним произошло, было совершен-

но непонятно, совершенно невообразимо и неосязаемо, но ужасно, противно и жалко.

Эта жалость вдруг вынырнула откуда-то, и момента, когда она появилась, Владимир Иванович не заметил. Но она тотчас же подавила собою ужас и брезгливость, и недоумение и со страшною силой наполнила, казалось, весь организм Владимира Ивановича. Ему вдруг припомнилось все, что характеризовало живого подпрапорщика Гололобова: его походка, его позы, его стриженная голова, его глаза, некрасивое лицо, белые ресницы, и все это было так неизмеримо прекрасно, так трогательно и мило в сравнении с тем, что было сейчас. Владимир Иванович почему-то посмотрел на лакированные сапоги, которые недавно, на живых и крепких ногах подпрапорщика, так бойко выступали по лужам, а теперь неподвижно, страшно неподвижно лежали на белом чистом одеяле кровати.

Владимир Иванович поперхнулся, вздохнул и сразу заплакал, как будто давно знал, что только это и надо, и лишь сдерживался.

Усатый пристав даже отшатнулся от него. С минуту он смотрел на Владимира Ивановича со слегка открытым ртом, а потом усы его вздрогнули, и он неожиданно для самого себя широко и неловко улыбнулся.

Но Владимир Иванович не видел этой улыбки; он беспомощно опустился на стул возле кровати и зарыдал, и задрожал.

Пристав испугался.

– Воды, ты!.. – почему-то грозно крикнул он на городского.

Городовой, зацепившись шашкой за косяк, со стуком выскочил в сени, а пристав растерянно стал уговаривать доктора.

– Владимир Иванович, что вы-с?! Разве можно! Конечно, жалко... но что же делать?

И пристав широко и недоуменно развел руками а потом опять сердито, и точно ругаясь, крикнул:

– Да воды же! Ну...

Воду принес в глиняной чашке большой старый городской с испуганным лицом.

– Ну вот... выпейте... доктор! Пейте, – уговаривал пристав, подавая воду.

Владимир Иванович, стучаясь зубами о чашку, пил теплую воду с запахом хлеба и дрожжей.

– Ну вот, ну вот! – обрадованно говорил пристав. – Да и пойдемте отсюда... Бог с ним!

Владимир Иванович перестал плакать и оглянуло недоуменно и смущенно. И его поразило странное выражение лиц стоявших перед ним: и пристав, и большой старый городской, что принес воду, и другой красный, рыжий и толстый, так смотрели, как будто его припадок был неизмеримо важнее и интереснее мертвеца, лежавшею на постели. Все смотрели на него помогали ему, заботились о нем, а мертвый

подпрапорщик Гололобов лежал смиренно и одиноко, как никому уже не нужная, неприятная и мешающая вещь.

– Пойдемте, доктор, право! – настаивал пристав.

Владимир Иванович машинально встал, взял фуражку, поданную городовым, и, пройдя сени, где хоть по-прежнему пахло теплым хлебом и дрожжами, но стоял какой-то свежий, бодрый запах, занесенный живыми, здоровыми людьми со двора, вышел на крыльцо.

И то, что он увидел, поразило его.

Было утро. Небо было совершенно чисто и прозрачно. Дождь прошел, но все было еще мокро и блестело как вымытое. Зелень ярко зеленела. Прямо против Владимира Ивановича восходило еще не видимое солнце и это место неба было ослепительно ярко, сияло, горело и искрилось. Воздух дрожал и лился в грудь вольными, могучими, чистыми и мягкими волнами.

– А... – удивленно протянул Владимир Иванович.

– Чудное утро! – сказал пристав, снимая фуражку, и с удовольствием подставил свою лысую голову навстречу живой прохладе. – Столько дней дождь, а тут вдруг этакая благодать! А? – продолжал с наслаждением пристав. – Как хорошо, все равно... тот-то бедняга и не увидит уж...

И пристав, делая значительное и скорбное лицо, кивнул головой назад. И сейчас же Владимиру Ивановичу представилась страшная, молчаливая почему-то, когда везде светло, освещенная лампой комната и неподвижный мертвый под-

прапорщик. Но пристав не мог удержать значительного и скорбного выражения, усы его дрогнули, нос сморщился, и, приятно улыбаясь, он сказал:

– И спать даже не хочется... жаль утра! Хорошо бы теперь того... выкупаться и рыбку поудить... Я – охотник ведь. А вы не ловите?..

И печальная страшная комната пропала. Владимир Иванович опять увидел свет, небо, людей и услышал милый, живой голос пристава.

– Да отчего же! – восторженно ответил он. И подумал, что пристав – прекрасный, интересный, живой человек.

– Может, поедем вместе когда-нибудь?.. Я с вами мало знаком, но...

– Конечно, конечно! – ответил быстро Владимир Иванович. Мимо пролетал, чирикавая, воробей, Владимир Иванович посмотрел ему вслед и радостно подумал: «Ишь, как работает».

– Ну а пока до свиданья, доктор, – сказал пристав и, вдруг с видимым усилием изменив выражение лица из веселого и легкого на тяжелое и значительное, неестественным тоном прибавил: – А мне еще того... надо.

Он пожал руку доктору и, видимо боясь, чтобы тот не последовал за ним, торопливо ушел в дом.

Владимир Иванович снял шапку, широко улыбнулся и пошел. Проходя мимо открытого окна, он увидел побледневшую слабую лампу, и что-то резкое скользнуло у него по

сердцу. Но в это время кто-то, вероятно пристав, дунул и потушил лампу. Слабый огонек моментально исчез, и стал виден потолок комнаты и самовар, блестящий отражением неба.

Владимир Иванович шел по улице и смотрел. И все, что было вокруг, все двигалось, искрилось и жило. Владимир Иванович смотрел на всякое движение и чувствовал что-то могучее, неразрывное, что связывало его в одно с этим живым, движущимся миром. Он смотрел на свои ноги и, точно первый раз их видя, едва не засмеялся, такими милыми и прекрасными показались ему они.

«Вот, я о них вовсе и не думаю, а они идут!» – подумал Владимир Иванович.

«И это вовсе не так обыкновенно, как я думал всегда... Это удивительно, чудесно и прекрасно... Вот я захочу протянуть руку и протяну!»

Владимир Иванович протянул руку и радостно засмеялся, глядя на выбежавшую на дорогу белую собачонку. Собачонка шарахнулась от протянутой руки, твякнула и озабоченно посмотрела, подняв ухо, на Владимира Ивановича.

«Славная собачонка!» – подумал Владимир Иванович.

И еще никогда в жизни не испытанное им чувство при сознании, что он и собака смотрят друг на друга, интересуются друг другом и боятся друг друга, а не лежат безразлично и неподвижно среди живущего,двигающегося мира, нахлынуло на него.

«Все что угодно! – подумал Владимир Иванович. – Страх, боязнь, злоба, все, все... только бы это было во мне, потому что это – я! Я вот... я иду, я думаю, я вижу, я чувствую... безразлично что... а не лежу мертвый... Я умру, разумеется!»

И совершенно спокойно подумав эту последнюю мысль, Владимир Иванович вслух проговорил:

– А надо когда-нибудь поехать рыбу ловить с этим приставом!

И широко шагая, двигая руками, ногами и что есть силы набирая воздух в легкие, Владимир Иванович пошел дальше.

И вдруг перед ним что-то вспыхнуло, засверкало и засияло так ослепительно ярко, что Владимир Иванович зажмурил глаза.

Взошло солнце.